

Александр МАЛЬЦЕВ

Рамонский район

Воронежской области



*...где-то здесь, в лозняковой низинке у ручья,
с сильным своим дымным запахом
стояла банька по-чёрному.
Тропинка выходила на дорогу
с колодцем обочь и журавлём рядом...*

Хутор из детства – мираж в пустыне, летучий голландец в море, легендарный град Китеж со своими подводными звонами колоколов где-то там, на северо-западе Руси. Жив он, по-моему, только в моей памяти. Жив ликами знакомых мною много лет назад, жив запахом баньки по-чёрному у ручья на переходе, жив улицей с тогдашними, крытыми соломой избами со скрипучими дверьми, лавочками под окнами, деревенскими мальвами в палисадниках. Ещё много чем. И уйдёт он окончательно в небытие по-китежградски вместе со мной. Так устроен мир на этой земле. Отживёт травинка своё лето, отрадуется жизни и на вечный покой. А чтоб не так трагично выглядела действительность, прикроет снежок землю на долгие месяцы – оно потихоньку и забудется.

Андреевка начинается селом Избище на востоке. Это Семилукский район. Тянется по широкой луговине километров двадцать до другого Избища на

западе, завершаясь хутором Афонино в Нижнедевицком районе. Несколькими домишками поднимается хутор из луговины к просто остановочной площадке «Избище» теперь, потому что станцию, на радость врагам нашим, разорили ельцинские «опричники». Луговина дальше раздваивается. Вправо небольшое пустое селенье Малиновка, обросшее дубовым лесом, влево просто лесом. Оба её облесённые ответвления рельефно выравниваются, завершаясь полем.

Километров через десять по луговине на восток будет центр. Когда-то здесь было правление колхоза «Звезда». В этом колхозе от самого его основания трудился мой дед. Позже – дядя, остальная малознаемая андреевская родня. Ещё школа, магазин, местная власть и начало асфальтированной дороги на Курбатово. И мне приходилось бывать в «центре». Почему кавычки? А потому, что раньше все жители селения говорили: не в магазин пошёл или в правление – в центр пошёл. В сельской администрации ещё помнят моего деда. «А-а-а, он жил на Коммунаре... – вспоминает глава, – я ещё пацанчиком тогда был...»

* * *

Проезжая мимо в уютном и тёплом железнодорожном трамвайчике – по старой памяти все называют его поездом – присмотрел я в этом месте из окна вагона ладненький домик рядом с заброшенным вокзалом, вернее – его останками. Совсем недавно – в две тысячи каком-то проезжали мы здесь на встречу с выпускниками в Лесопольянскую школу в старом венгерском дизель-поезде. Было это в феврале. Окна поезда были заделаны железными листами. Собственные дизели давно умолкли, тянул тепловоз. Отопление в вагонах при февральских морозах не работало. Ох, и досталось тогда!

Вскоре идея приобретения обросла подробностями в виде фантазий на тему домика в укромном уголке. Проездив мимо недоступного пока «винограда», я не стал, подобно басенной лисе, утверждать, что он зелен и потому зуб неймёт, а приступил к реализации задуманного. Попытка наугад увидеть бабушку-хозяйку для совершения желаемой, с моей стороны, сделки купли-продажи оказалась не простой затеей, что ещё больше разогрело желание.

Измаявшись от безысхода, сошёл я однажды на избищенской остановочной площадке и решил самостоятельно осмотреть домик поближе. Какая-то наотптанность тропки вроде бы и угадывалась, но очень невнятно.

Пробравшись по высоким застарелым бурьянам, приблизился к одному из окон домика и заглянул. Картина, открывшаяся моему взору, удивила и озадачила одновременно. На stopках кирпичей под углами середину комнаты занимала металлическая рама с панцирной сеткой от кровати. На голой сетке, с ладонями под затылком, в почти романтической позе, глядя в потолок, лежала женщина. С угла на угол комнаты со свисающими с плесневелых стен обрывками обоев диагонально протянута была связанная в нескольких местах сильно провисшая верёвка. На ней висело какое-то тряпьё неопределённого назначения. Подсматривать чужую жизнь далее было нехорошо. На мой стук в дверь тут же послышались шаги. Не спрашивая по-деревенски «кого там носит», женщина распахнула дверь. Узнав о моих намерениях, категорично заявила: «Дом продавать не собираюсь. В городской квартире очень шумно из-за соседей. А тут я отдыхаю». Вспомнив увиденное в окно отдыхание, я сменил тактику – от прямого наседания перешёл к длительной осаде. Это был «ход со двора».

Ксения Тихоновна, хозяйка ладненького домика, родилась в деревне. Как и все, в неповторимое время советской юности, а может быть, юности вооб-

ще, уехала в город. Устроившись на стройку подсобником, стала городской. Сначала доросла до каменщика, потом до крановщика. Долго жила в общешитии. Уж под старость получила квартиру. За муж выйти не успела. А теперь, на девятом десятке, ни к чему.

– Родня-то какая-нибудь в родной деревне осталась?

– Какая родня! – заоткровенничала старушка. – Пригласили меня, уж при какой власти, не помню, родные на свадьбу. Жила я тогда, – она махнула рукой, – выживала, одним словом. Прихватила с собой кое-какие деньжонки, поехала. Не забыли – радовалась. А когда эти деньжонки на блюдо подарила-положила, прогнали с торжества меня. Сказали, что нищим подают больше. Теперь те молодые проходу не дают: подпиши да подпиши квартиру. Подруге в городе со своими ночёвками я уже надоела, тут от родни и хоронюсь...

«Ход со двора» оказался успешным. Тогда я ещё не знал особенностей дачного ведения хозяйства. Не знал и о том, что придётся мне пахать благоустраивать этот уголок бесконечно. Но зато сделал для себя очень важное открытие: мы слишком долго усаживаемся в жизни для того, чтобы, едва успев обессиленно присесть передохнуть, почти тут же уйти, даже не заметив собственного ухода...

Километрах в двух с небольшим гаком от остановочной площадки, в прошлом, напоминаю, станции, в самой луговине, как я уже говорил, на улице «Молодой коммунар» жил дед мой по матери Макар Павлович с бабушкой Мариной Андреевной, в девичестве Карповой. Название улицы произошло от названия колхоза. Их было в Андреевке около десятка. Потом их слили в один и назвали «Звезда», а названия колхозов оставили улицам да отдалённым селениям вокруг. Мне захотелось переощутить дух моего детства, дух этого села, лучше понять свои начала, понять мотивацию своих поступков в жизни.

Вспоминают моего деда местные жители – коих осталось не то что совсем, а очень мало – великим трудягой. И из-за экзотики: использовал корову не только по прямому назначению, но и как лошадь, запрягая её в маленькую тележку собственной конструкции; сенца подвезти с покоса, ещё по какой нужде. До меня трудно доходит даже сейчас, когда я крепко в возрасте, что дед мой во времена моего пацанства был не только дедом, но и мужчиной в расцвете мужичьих сил со всеми остальными при этом необходимыми требованиями. Для меня он уже с момента моего рождения был дедом.

Моя мать и я внешне собой его повторили. От отца мне достались пальцы рук, суровое выражение

лица да склонности к музыке и мараению бумаги. Это не философское и общеизвестное «во мне живёт Христос», а родовая обыденность.

Родившись в 1895-м, он дожил до 1990-го и – поразительно: как! Со слов бабушки, любил дед деревенские гульбища. Трезвым с них никогда не приходил. Домой его приносили мужики упившимся до бесчувствия. Отоспавшись, как нигде не был, принимался за дела. Ничего у него нигде не болело, не требовало дополнительных вливаний. Краснощёкий, голубоглазый мужик с узкими усами не больше ширины носа по моде того времени.

Выпивши, любил поговорить, имея собственные «государственные» суждения. Однажды нашёл я его на подворье плачущим. Опершись подбородком на черенок вил, лил он слёзы. И вот о чём: скосил сосед купленное у него на корню сено, а потом и отаву, хотя про отаву договора не было. Раскурил я тогда по его просьбе сигарету, но он, так и не сумев «затянуться», выплюнул жвачку. Уже тогда, при его жизни, начинал я понимать, что прожил он жизнь, не выходя из детства. Бабушка рассказывала: когда дело повернуло к колхозам и все стали сбывать имущество, дед мой по дешёвке купил конную косилку, ветряную мельницу, рушку. Тут же из соседей создал объединение – «общество», как он сам, вспоминая, его называл. Но из грязи в князи не получилось, кто был никем, тот никем и остался. И в колхоз он пошёл не коммунизм строить, а за своими лошадьми приглядывать. Так до войны с германцем и проприглядывал. Говоря современным языком, он хорошо инвестировал колхоз за охапку соломы, которую надо было ещё спереть – так до сих пор говорят местные о краже. Может, потому при случае упивался он до безобразия. Дожив до горбачёвских преобразований, всё пытал меня: «...а может, оно как при Столыпине, землицу нам теперича отдадут?» Но его жизни на российские преобразования не хватило.

Сам дед, по своей детскости, многого в голову не брал. Перед войной кто-то из мужиков отдал ему долг флягой денатурата. Дед, широкая душа, собрал соседей. Обсев флягу, мужики не встали, пока все сорок литров этого средства для розжига примуса или керогаза не прикончили.

Воевал дед, защищая Сталинград, поваром. Там попал в плен. Из плена бежал, пришёл домой и сразу устроился разнорабочим на железную дорогу. Коней его в колхозе к тому времени, видно, уже не было. Освоил он на железной дороге новое, хотя для моего понимания странное дело – чистить колодцы. Даже мне запомнилось обилие казённых домов, как их тогда называли – казарм, через каждые три, пять километров вдоль железнодорожного

полотна. В них жили и несли службу железнодорожные обходчики. Возле казарм колодцы. Вот их-то и чистил дед до пенсии.

Рассказывали: однажды мужики уронили в колодец на деда бадью. Сочтя, что пришибли мужика и ему конец, присели рядом помянуть душу очередного грешника (почему-то при жизни о грешности вспоминают мало), чтоб потом уж думать, как доставать тело и расхлёбывать случившееся. Дед, очувшись, услышал приятное для души знакомое бульканье, закричал им из колодца, что сначала нужно достать бадью и его, а уж потом разливать...

Потом, даже после его смерти, вспоминали железнодорожники, как в споре грузили ему на спину прогон рельса и он, где-то около полутонны веса, нёс рельс на своих плечах. В глубокой старости мучили его висюли грыж на груди и в паху. Дурь просто так ведь не проходит. Жил он как мог – с душой простецкой и наивной.

Я плохо помню, но, наверное, по моей просьбе он сделал мне лыжи. Это были две плохо оструганные, заострённые топором доски. Мне они, по-моему, так и не послужили. Руки ему Господь пришил грубовато. Или деду не сиделось, и всё он делал на скорую руку от нужды. Сложенная им печь занимала много места и при растопке всегда сильно дымилась. Слаженные им сарай снова хилились, двери пели на все голоса и цеплялись за землю, везде были подпорки и соломенные затычки.

Как-то летом, по ошибке, залетели в пустующий на подворье улей пчёлы. Дед, растопив дымарь, восторженно пособил заблудшим обрести дом. Потом, с гудящими под рубахой пчёлами, сев рядом со мной на дрова, попросил сигарету и, пуская дым под рубаху, приговоривал:

– Худая снасть, Шашок, покою не даст.

Утром пчёлы улетели. Дед сокрушённо размахивал руками:

– Эх, мать-и-так, не углядел! – вроде как корова в огород зашла.

Бабушка Марина померла в семьдесят пятом. Деду было восемьдесят. Бабушка давно болела, жила с дочерьми. Дед привык жить один. Он держал корову – сам кормил-поил её, сам доил-цедил, сам ел и делился молоком с государством. Корову утром тянула небольшую двуколку на опушку леса. Там он косил сено, а выпряженная корова паслась. В «обедах» дойка, обед и задушевные беседы с соседкой через дорогу, родственницей Акарачихой, если дед был дома. Акарачиха раскуривала козью ножку – свёрнутую из газетной бумаги сигарку со своим самосадом так, что щёки в беззубом рту сходились, басовито передавала деду бабы новости. Больше их передать ей было некому. Улица

катастрофически быстро пустела. Народ «уходил», а молодежь в селе не оставалась. Потом корова шла дощипывать траву, а дед сгребал и укладывал на двуколку сено. Вечером запряженная корова везла деда и сено домой, чтоб на следующее утро повторить всё сначала.

* * *

Уже когда ему было за девяносто, деда забрали дочери к себе доживать. Последний раз виделись после моего возвращения гостем из Украины. Живущий в Украине один из многочисленных сыновей моего деда Тихон выгнал из конфет самогон. Времена были горбачёвские; ни «жратвы» в магазинах, ни сахара, ни самой водки. Передал я деду поклон сыновний и гостинец. Дед покричал тётке, чтоб принесла стакан. Плеснул и, откушав, ещё раз – теперь уже на вкус – убедился, что сыну живётся хорошо. В свои девяносто пять он был в своём уме, мог себя обслуживать. Только бесконечно сокрушался по своему жилью, своей корове, которую лет пять назад сдали на мясокомбинат. «Взыграло конфетное пойло, вот и понесло деда», – подумал я тогда. И только спустя годы понял его правоту. Укоротили тётки мои, его дочери, ему жизнь своей любовью – вырвали мужика с корнем из привычной среды обитания, посадили поближе к печке да к ведру пахучему, и завял мужик.

– Расскажи, – попросил я тогда, – дедушка, о своём солдатстве.

– А что об нем рассказывать-то. Призвали в четырнадцатом году. Служил в Москве. Присягу давал царю-батюшке верой и правдой ему служить. Как привезли, как переделали, стал думать о службе. Понравилось мне, как трубач на трубе трубит. Подхожу к унтеру – так, мол, и так, хочу на трубе трубить. Чего надоть-то? Сговорились. Свечерело. Добыл-купил водки, отдал её унтеру. Смешной был унтер, – дед хохотнул, склонив голову набок. – Как честь бывало отдаёт, ножкой бьёт и рукой по заднему месту себя хлопает. Пошли мы с ним в овраг. Раза три, лебо, ходили. Выучился я побудку играть, ещё чего и – трубачом служба пошла. – Рассказывая, дед прихлёбывал как чай из гранёного стакана конфетный самогон – подарок-гостинец от сына.

Я ни разу не слышал от него ни ругани, ни грубости, ни богопротивных слов. К концу лета он захандрил-занедужил, перестал принимать пищу, убрались висюли грыж, обрезалось лицо – так смерть не спеша вынимала из тела его светлую настояще русскую душу. Осенью Макара Павловича схоронили.

* * *

Возле отца из восьмерых его детей остался на всю жизнь в Андреевке один Михаил, которого я, не знаю почему, называл крёстным. Крёстный жил неподалёку ещё в одном ответвлении луговины. Хату с садом на склоне помог ему купить отец. Михаил был башковитый, и, когда пацаном поступил в Воронежский железнодорожный техникум, отец поймел на сына большие надежды – половина деревни работала в колхозе, половина на железной дороге. Колхозники железнодорожникам завидовали. Но эти надежды не сбылись. Михаил приглядел в соседнем селе Князеве Марию. Ему стало не до учебы, и осел он, выучившись на шофера, в родной деревне плодить потомство.

Мужик он был крупный, ширококостный и сильный в отца. Подтягивая песни на вечеринках, густо басил, а в сильном подпитии, топчась неуклюже, пытался плясать. Говорил, как и все, говором андреевским. О говоре особо бы поговорить – да что я знаю, кроме эмоционального.

Говор этот ещё называли гончарихинским, а саму Андреевку часто Гончарихой. Видно, в каком-то из ответвлений протяжённой на много километров луговины были и есть близко залежи гончарной глины. Вот вам и свои гончары, и свои кувшины из глины, и не забытое название села в прошлом.

По-настоящему я своё «я» наблюдал со стороны, встречаясь в райцентре с заведующим отделом культуры района, уроженцем Андреевки Беленовым Александром Митрофановичем. Кстати, его брат Иван долгое время руководил оркестром Воронежского государственного народного хора, возглавлял культуру области. Местные говорили, что с последней женой – солисткой Воронежского хора – Иван Митрофанович в родную Андреевку приезжал и они такой концерт возле дома закатили! Братья гончарихинскому речевому разливу-говору никогда не изменяли, да если бы и захотели, все равно б не смогли, потому что слышали от рождения только этот говор. Отец-то их был бригадиром тракторной бригады и превеликим пересмешником. Сообразил ещё одного сыночка Сашу и на стороне. В общении с ним чувствуется беленовская порода. Их «нябось» и «чаго» с разливом говора мне сегодня вспоминается музыкой словесной.

Дед мой и его сыновья, как я уже говорил, любили выпить. Однажды в поддатые затеялись шутить-бороться и сломали отцу руку. Наутро за столом стали думать, как быть дальше. Отец, выслушав сыновей, подвёл итог: «Глядите, ребят, как луч-

ше...» Добрейшей был души человек и действительно превеликий трудяга.

Его отец Павел Семёнович умер в тридцать седьмом, пытаясь спасти зерно от набега комбедовцев. Пряча его в погреб, надорвался. Прорвалась, как тогда говорили, «грысь».

Мой прапрадед Семён Стефанович, отец моего прадеда Павла, имел шестерых детей, и каждый оставил в народе о себе памятное. Кирилл зарубил топором покушавшегося на честь жены односельчанина, отсидел за это два года, Иван был известным хлебопёком, Фёдор – тем, что многодетен, Трофим и Андрей погибли на войне. Прадед Павел тоже не оплошал – кроме моего деда Макара, его дети: Егор – в 1944-м погиб на фронте в поездной аварии; Павел Павлович проехал по фронтам на своей полуторке от Сталинграда до Берлина; Варвара жила в Андреевке; Марина в Малиновке с поэтичным Егором Андреевичем. Их сына Ромку и сегодня деревня помнит как безвинно убиенного. Наткнулся я как-то на узелок с поздравительными открытками. Егором Андреевичем написанные тексты были особенны – отличались витиеватым узорочьем предложений, фантазией и почерком; Анна вышла замуж за Чикова Илью Леонтьевича. Запомнил его потому, что любил он с моим отцом попеть на два голоса русские и украинские народные песни, поговорить о житье-бытье. Дети Ильи Леонтьевича и Анны Павловны живут в селе Стрелица.

Сам Семён Стефанович посадил сад, который позже назовут Акарачихиным. Сын его, Трофим Семёнович, сад унаследовал. В жёны, как это было принято, взял местную.

Татьяна Семёновна с войны Трофима ждала всю жизнь. Как и большинство солдатских вдов, много курила. Народ дал ей подворную кличку Акарачиха. Я кушал яблоки из Акарачихина сада, посаженного Семёном Стефановичем.

* * *

Бабушку все, и я тоже, звали Маришей. Её настоящее имя узнал взрослым, войдя, как говорят, в ум. На бабушку конституцией тела и чертами лица похожи моя дочь и внучка. Она не знала букв и не умела читать, но хорошо шила, обшивая нас и деревню.

Её брата Семёна Андреевича во времена коллективизации раскулачили. Местная сельская гольтепа сочла его богатым и, пользуясь случаем, вытряхнула мужика с семерыми детьми на улицу, ограбив дочиста. Семён Андреевич быстро сообразил про холодные края и, пока местные опричники не одумались, исчез вместе с женой Ириной и детьми.

Говорят, когда жена Семёна Андреевича проходила по деревенской улице, мужики шеи выворачивали. Беленов Агап, двоюродный брат Семёна, открыто грозился, то ли в шутку, то ли всерьёз, отбить у него жену. Каштановые косы Ирины вызвали подозрение у комбедовцев во время обыска. Они предположили, что в них спрятано золото, и вознамерились углубить обыск. Решительный взгляд Семёна Андреевича и топор в его руках заставили комбедовцев отказаться от своих намерений. Где-то в начале пятидесятых в Андреевку пришло от них письмо аж из Киргизии...

Я ездил туда в семьдесят шестом посмотреть. Село Аларча, куда с вокзала тогдашней столицы Киргизии подвез меня троллейбус, оказалось почти в центре тогдашней столицы Киргизии города Фрунзе.

Первый дом тетки Полины. Она меня, как и я её, увидела впервые, и наверно поэтому долго разглядывала, ища знакомые черты, потом вдруг как-то разом засуетилась, несмотря на ночь за окном: «Пойдём скорее к нашим, вот радости-то всем будет!» «Наших» оказалась целая улица. Тётка вела меня от дома к дому, стучала в двери и окна: «К нам родные приехали, собирайтесь у отца... к нам с Родины приехали... к нам...» Я и сейчас не могу вспомнить это без волнения.

Во дворе у небольшого, но аккуратного дома под осенней яблоней мы поджидали остальных. При свете лампочки над входной дверью разглядывал я подметённый двор, аккуратно расставленные грабли и разнокалиберные лопаты под небольшим навесиком, собачью будку в дальнем углу двора с высокой двускатной крышей и резным балкончиком над лазом-входом, столик со скамьёй у забора.

Полина Семёновна тем временем нашёптывала: «Папа наш в Первую мировую войну попал в плен к немцам. Оттуда привёз привычку вставать и ложиться в одно время, пить кофе по утрам, жить строго по часам, – видимо, способствовали тому большие карманные часы со среднее блюдце, которые я успел разглядеть в его руке при появлении. – Там же освоил столярное дело. Вся мебель в его доме и в наших домах сделана его руками...» – горделиво закончила тётка Полина, из чего я сделал вывод о глубочайшем почтении к родителю.

Прихожая, она же гостиная, она же кухня и зал с большим столом, диваном и резным кухонным шкафом на стене.

Только теперь и именно тут я понял причину раскулачивания Семёна Андреевича афонинскими мужиками. Такой роскоши, как в его избе в Афонино, сотворённой его умелыми руками, мужики нигде и никогда не видели. Я потянулся было к газетам на

журнальном столике. Полина Семёновна опять же шёпотом предупредила: «У папы в одной стопке читанные газеты, в другой нет. Посмотришь, сложи всё на место».

Собравшиеся родственники – молодёжь и солидные тётки и дяди – с любопытством меня разглядывали так, будто во мне и через меня могли увидеть то, о чём неоднократно и много слышали здесь, среди чужого по духу и вере народа. Многие из женской части этого большого некогда семейства Карповых избрали родом деятельности педагогику. Кто-то дослужился аж до Министерства образования в Москве.

Ждал расспросов. Семёна Андреевича более всего интересовали поля, дороги и оставшиеся вокруг Андреевки сёла. Вспомнил; где, за какими лесами были его посевы, что он сеял там, а что там, где какие были балочки и неудобья, где и куда ведут дороги, какие уже давно должны быть заасфальтированы, по его мнению. У него от этих воспоминаний так загорались глаза, что передо мной невольно распахивался тогда тот живой крестьянский мир, распахивалась хлеборобская душа с трагедией её отрыва от родных мест, от унаследованного дела предков.

Пожил Семён Андреевич хорошо. Примером всей своей жизни показал он своим потомкам, что значит держать собственную судьбу в узде. Потрудились и повидали много, дотянув почти до ста лет. Одна печаль: схоронен на чужбине где-то в девяносто пятом. Его и бабушкин отец Андрей Игнатьевич тоже был раскулачен. Умер в тридцать третьем от голода после Троицы. Ближайшей родней Карповых по бабушке остались в Афонино дети Никанора Антоновича, сына бабушкиного двоюродного брата Антона Игнатьевича, по подворью Зот. Жил он, говорят, за высоким забором подворья, а как – один Бог ведает.

* * *

Всё думаю: не очень ли долго пришлось ждать вам, дорогие близкие и дальние родственники, – когда появлюсь на свет божий я, когда выведу вас из небытия забвения хотя бы вот так, дав возможность прозвучать вашим именам. И не потревожил ли я вас своим вмешательством в ваш вечный покой? Ведь передают же батюшке в церкви бумажку с упоминанием только имён. Считается, этого достаточно. Господь точно знает и отличает, о ком идёт речь. Слово, как материальное продолжение мысли, имеет и передаёт конкретный образ от передающего через посредника в храме послание Богу.

Австралийские аборигены верят – их предки живут в живущих благодаря особой дощечке-амулету, который они берегут и передают из рода в род, называя его чурингой.

* * *

Люди узнавали меня, а я их чаще всего у остановки поезда. Когда-то был перрон с вокзалом... «когда-то» – это из той жизни. Теперь – полуразрушенные строительные плиты на бетонных блоках над щебнем. Ширина плиты разделена жёлтой полосой. За полосой зона опасности, безопасной зоны сантиметров 60-70. Старушки с инсультами, инфарктами и головокружениями на плиты взбираются после остановки поезда. Боятся, сдует их потоком воздуха от подходящего поезда.

Стану я иногда вот так возле железнодорожного полотна, посмотрю в одну сторону на убегающую блестящую сталь рельсов, в другую, и понесёт меня то в недавнее прошлое, то в далёкое...

На запад железной дорогой через Курск можно добраться до матери Руси Киева, на восток через Воронеж до Москвы. На сохранившихся постройках в Воронеже и на станции Нижнедевицк видны ещё металлические пластинки с датой – 1895 год. Наверняка и в других местах ветки есть казённые старинные строения. Постройки эти больше порушены или заброшены. Дата – год завершения строительства ЮВЖД. Дирижировал процессом строительства дороги незаслуженно запамätованный Сергей Витте. Это он без связей, с одним голым дворянством, но благодаря своей светлой головушке поднялся при царе Александре Третьем до директора департамента железных дорог в Министерстве финансов, предварительно пройдя железнодорожную науку от проводника, кассира, стрелочника, станционного дежурного, помощника машиниста в Германии до начальника движения Одесской железной дороги при Александре Втором. Наверно, и вот тут постоял он, наблюдая за работой рабочих – всё может быть...

* * *

Вправо полотно дороги сильно поднято, а место в несколько километров названо жителями Выемкой. Прикрою глаза и вижу мужиков, везущих землю в тачках, мастеровых и начальство вижу. На подъём полотна нанимались андреевские, ореховские, ольшанские и лесополянские мужики. Они взвозили по дощатым настилам землю в

тачках наверх. Там высыпали. Родилось и навсегда осталось название – насыпь. – За насыпью Круглый лес, – говорят, – а за Выемкой земляники видимо-невидимо! Но эта часть железнодорожного полотна была пущена в эксплуатацию в середине тридцатых при советской власти, а до этого оно проходило где-то на километр южнее, у расположившегося в ложбине села Мисеевка. Вокзал же был построен в самом начале тридцатых. Видно, проектирование переноса полотна севернее вызвалось очень глубокими впадинами с крутыми откосами у самого полотна.

Многие мисеевские пацаны были моими одноклассниками, а колоритного мисеевского учителя начальных классов Сабынина Николая Ивановича до сих пор помнят приезжающие в заброшенное село местные. Вспоминают: был учитель Николай Иванович и председателем местного народного суда. После обсуждения недостойного поведения сельчанина, зачитав решение суда, ронял он на стол отсохшую после ранения на фронте руку, добавляя: «Решение окончательное, обжалованию не подлежит!»

Радует и поднимает дух наличие мощи и таланта таких людей на Руси! Вот Иван Беленов берёт в руки баян, вот Александр Третий в качестве ответа на вопрос австрийского посла завязал узлом и бросил на тарелку стальную вилку, вот дед мой после Сталинграда бежит из немецкого плена, вот Столыпин организовал переселение крестьян в Сибирь, открыл крестьянский банк, вот дед Семён бежит в Киргизию, чтоб не попасть в холодные края, вот Витте в очередной раз спасает Россию – Портсмутским миром заканчивает войну с Японией. Это недавнее прошлое так звучит во мне невидимыми колоколами.

А будущее – это великий марксист Чубайс, так он назвал себя сам. Не понять мне, никак не понять, как может выглядеть будущее России с такими рулевыми...

* * *

– Я усю жизнь проишачила вот тут, на железной дороге, – причитает Нина Николаевна – высокая согбенная старуха с синими губами и необыкновенной для баб худобой. – Детей родить не смогла – шпалы таскала да тяжёлым молотком костыли в них забивала. Теперича вот живот болит. И поехать на зиму некому. Ежели дождик мочит, али солнушка печёт, хоронимся вон там, – она показывает палочкой на тихонько гудящий на высокой стальной площадке высоковольтный

трансформатор. – Говорят, опасно, а можа ничего? – смотрит иронично-вопросительно.

– Ничего, – отвечаю, – раз ещё никого не убило.

* * *

– О-о! Санёк. Давно не видел, – тянет руку ветхий от худобы мужичонка.

Я подаю свою: – Я тебя, брат, – говорю ему, – не то что давно, вообще никогда в жизни не видел, и как звать-величать, понятия не имею.

Мужичок изумляется обороту дела: – Да? Попытал, значит. Да и не мудрено – с большого бодуна чего не пригрезится. Еду в Воронеж к жене отмокать. Думал, Санёк идёт – выходит, обмишулился.

– Не погрёт жена-то?

– Да ты что! Упаси бог.

Позже узнал, что это Иван Михайлович, с самой что ни на есть ольшанской фамилией – Елфимов, два срока отрубивший водителем в Чернобыле после аварии атомной станции. Местный.

* * *

– Ты, слыхала, милоч, вон тот домик купил?

– Купил.

– И как?

– Отремонтировал, обживаюсь.

– Ты, слыхала, Макар Палчу покойному внуком доводишься. Кто ж мамка-то твоя будет?

Я называю.

– И-и-их; ведь я твоих и мать, и отца хорошо помню, Царствие им Небесное. Отец твой у гармонь играл – поискать, мать твоя моя подруга была, джюе хорошо лечить все болезни умела. А домочок хороший, дрова рядом, и все угодыя кругом твои...

– Всё ничего, – поддакиваю словоохотливой бабушке, – да соседи далековато.

– Самая хорошо, милоч! На кой они тебе, соседи-то, скандалить?

* * *

Елене Андреевне в очках на крючковатом носу за девяносто. Так за девяносто, что она уже и сама путается, к какой цифири ближе: к ста или к девяносто. В просторном, с вылинявшими цветами платье и галошах на босу ногу топчется она целыми днями в своём дворе со своими нехитрыми делами. А как? Картошечка своя поднимается и требует окучивания. Помидорчики-огурчики на-

до доглядеть – да мало ли ещё чего на личном подворье надо сделать. В прошлом году в её доме побили стёкла окон.

– Эт ей за бригадирство её побили, за её бесстыжие доносы колхозному начальству, за обчёты в нарядах... – словесно суетится такая же раритетно прошлая колхозница.

– Так сколько лет уже прошло! Советской власти почитай четверть века как нету.

– У Бога сроков давности не бывает.

Отец Елены Андреевны много лет назад сдал властям местного мужика. Как говорят в народе, посадил. Брат посаженного подловил Андрея на краже колхозного зерна и тоже посадил. Так жила в те времена не только Андреевка с хуторами вокруг...

* * *

«Ромка-то? Да какой с него полицаи! Пацанёнок ещё совсем он был. Немцы как пришли, так сразу и новую власть установили, и кого куда послали. Дуську – твою мать, мою соседку и подругу, послали в школу детей учить, какую пацанву подсобрали – стали готовить железнодорожному делу на разъезде, баб на разные работы. Ты чо? – у них всё строго было. Ромку, Егор Андрева сына, в полицию, за порядком, значит, приглядывать поставили. Оно какая власть ни будь, сразу свои порядки устанавливает, а нам-то куда деваться? Мы тут живём, значит, надо подчиняться. При советской власти за горсть зерна сажали, так что учёны были и к подчинению приучены. Но про своих молчали. На дальнем хуторе пятеро наших солдат в заброшенной избе жили. А один так прямо в селе к бабёнке пристроился. Ромка всё ему грозился: – Вот придут наши...

Порядок у немцев был суровый. Ничуть не слабше нашего. Я тогда, ещё совсем маленькая, с бабами на току работала. Старый немецкий солдат за нами приглядывал. Мы приворовывали, он делал вид, что не замечает. Обыскивая, полапает кое-как, понемучет своё, грозный вид сделает, пальцем погрозит и дальше идёт. Кто-то из наших баб на немца того немцам наступал. Так мы, значить, приучены советской властью были. Зачитали, слышь, немцы прилюдно на площади бумагу и стрелили сердешного. Своего и то не пожалели!

А тут как на грех у Федотики две курицы пропали. Побегала она по соседям, нету кур, хоть ты тресни! Значит, те, с дальнего хутора, которые свои, оголодали и съели, – решила она.

Федотиха видно с досады тогда так решила и шепнула опять же немцам. Она, она это сотворила,

стервозина, больше некому. Сумлений ни тады, ни опосля не было. Приволокли душегубы усех пятерых в деревню, согнали народ. Опять бумагу читал ихний с животом, на наших всё пальцем показывал. Потом привязали сердешных к дереву, облили из канистры бензином и подожгли.

Ромка был тихий, никуда не лез, вреда от него никому не было. Когда немцы отошли, наши заскочили в село на машине. Тот гад, что у бабёнки прятался, что-то приехавшим наговорил. Ромку вывели из хаты и тут же под окнами ни за что ни про что стрелили. Мать Ромкина потом в его кофте с заштопанными от пуль дырками ходила. И никакой он был не предатель, чего предавать-то – он же ведь ещё и в армии не был...»

* * *

– А как и с какой стороны, – спрашиваю, – входили немцы в Андреевку?

Бабушка на время задумывается, уходя взглядом в себя:

– Со стороны станции Нижнедевицк. С Малинова хутора, значит, на танках ехали. Мы все сидели в погребе, дед наверху около дома на лавочке, значит, сидел. Глядь, передний танк прямо на погреб с нами правится, на нём ещё ведро стояло. Дед закричал, значит, и показал немцу бадиком (так называют здесь костыль или палочку), что надо объехать. Передний отвернул, остальные за ним пошли стороной. А вот на мотоциклах со стороны Ольшанки ехали, значит.

– А какие они, немцы-то?

– Вот живёшь, значит, ты в деревне. Кругом соседи: один такой, другой такой. Все разные, значит, а народ один. И немцы – какой нам, детворе, бывало, конфетку даст, какой пинком поддаст, – рассказала словоохотливая бабушка. Жаль, не успел ещё чем поинтересоваться – поезд подошёл.

* * *

Или: выхожу на перрон, заросший дичью зелени. За густотой зарослости у лавочки бухтят голоса. Железнодорожные рабочие в оранжевых жилетах проводят в ожидании поезда выездные посиделки. У рабочего с косой прошу косу, вознамерившись сбить обнаглевшие бурьяны. Мужик косу подал, но предупредил, что она не косит. «Почему, – спрашиваю, – не косит?» – «Отбить надо, поточить...» – «А зачем же ты её сюда привёз?» – «У кого какой инструмент, у меня вот коса».

Рабочий в возрасте обращается к курящему у столба с проводами: «Завтра к вечеру подойду, ты дома будешь?» – «Да, а что?» – «Сделал кобелю будку, надо к угольникам пятаки приварить, а то в землю уйдёт» – «Сделаем». Крайний на лавке серьёзно: «Газ-то ты ему подвёл?» – «Не, – так же серьёзно в тон отвечает владелец пса. – Я ему печь сложил, пусть дровами топит». Крайний тут же переключается на байку: «Мерзнет кобель зимой в конуре и думает: надо по теплу конуру подлатать. Зима кончилась, солнышко пригрело. Лежит кобель и думает: какая только дурь за зиму в голову не придёт». Из середины сидящих:

– Затеялся свояк дом строить. Материал завёз, мужиков нанял. Закончили разметку под фундамент. Маракуют мужики с хозяином – с чего завтра начинать. Выполз и присоседился к маракующим древний дед свояка. Покуривает козью ножку, мужиков слушает. Слушал, слушал и, плохо понимая из-за глухоты, о чём они, подводит разговорам итог: «А вить ишшо и печь складать...»

– А вот скажи-ка: какая самая плохая болезнь? – подхватывает инициативу матерщинистый, умело и густо пользуясь ненормативщину. – Геморрой. Больно, а жаловаться – стыдно. А самая хорошая? Чесотка. Почесал и ещё хочется.

Похожий на бригадира: – Привёз сын молодую жену отцу-матери показать. Свекровь жалуется на невестку соседке: «Помидоры поливает швырьмя». И скомандовал: «Поезд. Пошли грузиться». Уже в вагоне, когда все расселись, голос напомнил: «А вить ишшо и печь складать...»

* * *

К приезжему люду в этих местах, как и везде на Руси, отношение настороженное. Всех, кто не наши, кто говорил непонятно, называли наши предки «не мы». Отсюда духом старины – немтыри, немцы. Здесь же и сейчас используют шаблонно-современное – сектанты. В основном это воронежцы. «Поскупили всё за бесценок, земли не пашут, бурьян разводят...» – негодуют местные. Приезжих в деревне половина, если не больше. Каждый живёт своей верой: кто эзотерикой, кто йогой, кто лучистым человеком, – начитались-наслушались всякого. Последствия ненаправленной образованности вкупе с ненаправленной идеологией государства. Официоз хоть и запоздало, но целенаправленно подталкивает людей к церкви. Но не всех церковность устраивает. Блуд же и шатания местным старушкам чужды. Кто явно не православный человек, по их мнению, тот без царя в голове. Без царя в го-

лове обезноживший приезжий Иван, бывший мастер спорта по боксу, без царя в голове его жена Настя с двумя высшими образованиями. Они вегетарианцы, значит; начитались-наслушались... с толстовским блудом в умах живут.

В доме на отшибе, всем ветрам открыто, живёт Лида. Штукатур-маляр очень широкого профиля. Она сволокла в свой дом книги своих клиентов, которые вместе с капитальным ремонтом чистили кладовые от хлама прошлых заблуждений и дарили ей их мешками. Почитывая добытое, она «пишет» на чистый лист своего ума уже свои идеи-предположения, подчиняясь Гурджиеву и Блаватской, современным гуру с их последователями оккультизма. Говорят, оккультизм для освоения требует знания фундаментальных наук, колоссальных усилий, а тут трах-бах и в дамках!

Есть люд чужой и ещё. В их число, видимо, должны зачислить теперь и меня. Раз местные так решили, пусть приезжие будут сектантами – может, так оно и правильно.

* * *

Правлюсь к соседу-дачнику, как и я, уроженцу этих мест. Это от него узнал я о предстоящих бедах Украины. Зашёл он ко мне в начале декабря расстроенный:

– Обкрыл меня, – возмущается, – сейчас на рынке толстомордый хохол-торгаш. Пригрозил, что после новогодних праздников москалям рыло чистить будет батьковщина, хвосты-то грозилась, мол, попржимёте.

Успокоил я Митрофанюча; украинцы народ таковой – им всегда и во всём москали виноваты. Попили тогда чайку, а вскоре, как и обещал обидчик Митрофанюча, началось... но это уже тема иного повествования.

Летом Митрофанюч вселился в другое подворье, оставив в низине, некогда самой гуще деревни, родительский дом. Отсюда ближе к останковке поезда-трамвайчика. Так вот, подхожу к крылечку и вздрагиваю от неожиданности. Рядом с дверью к стене дома прислонена крышка гроба. В голове шарики начинают цеплять за ролики.

На деревянных ногах вхожу в открытую по обычаю дверь. Комната, гроб на табуретах. В нём... старушка. У гроба местные старушки и средних лет незнакомая женщина. Делаю лёгкий поклон приветствия. Пытаясь понять происходящее, останавливаюсь у гроба. Из соседней комнаты выходит приятель и увлекает меня за собой на улицу.

– Хозяйка дома померла. В ольшанском доме престарелых доживала слепая и глухая. Я её дочке обещал не чинить препятствий – похоронить покойницу из родного дома, – вводит меня в курс Митрофаных.

– Сколько ж годков пожила покойница?

– Восемьдесят пять

– По общим меркам, – говорю, – нормально, но до местных не дотягивает.

– Она не из наших краёв, взял её нашенский мужик Сергей Ульянович то ли из Владимировки, то ли из Орехова. Сам-то он ногу на войне потерял, но хозяйство доглядывал справно. Делал всё, как видишь, ладно и старательно. Упал с крыши и сломал шейку бедра здоровой ноги. Жив бы был, за ним бы и Анна Григорьевна пожила. Царствие им Небесное – хорошие люди были.

– Чем занималась покойница при жизни?

– Учительствовала. Сначала в местной школе, а как её прикрыли – в Ольшанке, потом на станции Нижегородки.

– А дети?

– Среднего убили в Курбатове. Дочка на пенсии живёт в селе Стрелица, была учительницей, как и мама. Младший сын лётчик, дослужился до полковника, живёт в Москве. Они справно жили. Сергей Ульянович за потерянную на войне ногу деньги получал, машину ему государство давало, бензин оплачивало. Работал до конца дней на железной дороге. Жена в школе не колхозные деньги получала – чего говорить; недолюбливала их деревня за зажиточность и порядок в доме. А меня или тебя думаешь долюбивают? То-то!

– Лопаты у стены хозяйские, не раз клёпанные стоят, даже воры на них не позарились, а ты мне про зажиточность, – перебиваю Митрофаныха.

– Это по тем меркам зажиточность была. Зайди в их старую хату, погляди. Окошки – что мышинные глазки, потолки и двери низенькие, я себе весь лоб расшиб. Две комнатки в избе крохотные. А ведь троих в тесноте вырастили, потом уже новый дом построили, баньку сладили. Как завспоминаешь, как подумаешь о жизни после войны – сердце болью захватывает. Помню: толчёт мама в ступе жёлуди на хлеб. Я сажу около стола, на котором лежат высушенные в печи семена дуба. Один – такой зелёный маленький желудок привлёк моё внимание. «Мам, можно взять», – спрашиваю. «Возьми», – говорит мама. Я беру желудок, пробую и кладу обратно на стол. Смотрю, а у мамы по щекам слёзы. «Ты чего кричишь», – спрашиваю. Слово «плачешь» тогда не использовалось, а смеяться – грохотать – доныне в обиходе. Махнула тогда мама рукой – а, мол, так... а вечером с работы пришёл отец. Он на же-

лезной дороге шпалы и рельсы таскал – путевым рабочим был. Это потом он ослепнет и доживать будет ощупкой. Мама пустой суп на стол поставила. Хлебнул он этого супа и ложку отложил: «Пойдём лучше спать».

* * *

Затеялся Митрофаных продавать родительское гнездо: два дома рядом, капитальный гараж с погребом, сад с зимним синапом, виноградом, смородиной-малиной и прочими приятностями. «Кто-нибудь интересовался?» – спрашиваю. «Интересовались, – неохотно отвечает Митрофаных, – то сколько до асфальта, то – далеко ли от дома газ проходит, то какая река рядом». Он горестно разводит руки: «Ну нету тут у нас ни асфальта, ни газа, ни реки, ни даже магазина нету. Зато земли; что вправо, что влево – паши сколько распашешь. И красоты кругом, хоть без отрыва бесплатно любуйся!»

– Дом твой – родительский, ладно, но гараж-то ты сам строил кирпичный, и ворота к нему стальные аж из самого Воронежа пёр-транспортировал.

Митрофаных в ответ на мой укор виновато хмурится, пробуя возражать.

– У моих родителей девять нас было, у соседа шесть... у других не меньше. Кто ж мог тогда, в конце восьмидесятых, про такой разор деревяни подумать!

– Ты ведь теперь даже попку-доставку стройматериала в эти места оправдать не сможешь, – лениво итожу то, что и так понятно.

– Газ им подавай, – как бы сам с собой продолжает нудить Митрофаных, – асфальт им подавай, реку. А когда же они собираются огород копать, траву косить, сажать-поливать, за садом ухаживать? – не понять, на кого всё громче и громче недовольствуется владелец неликвидного поместья.

– Это дело их. Люди сейчас совсем иной жизнью живут...

– Вот-вот, – перебивает приятель, – дома за бесценку берут, на огородах бурьян разводят. Трудиться на земле никто не хочет. – Помолчал и продолжил: – Я после семилетки в колхоз пошел. Сначала на лошадке водовозил, осенью группу телят принял на откорм, вошёл в штат. За год работы выдали мне сто рублей денег и два мешка пшеницы. На эти деньги отец купил мне пальто. Понял тогда: в колхозе семье и отцу я не помощник.

– Ты помнишь, сколько лет на тот момент после войны прошло? – перебиваю вопросом Митрофаныха.

– Нет, – сразу догадался он, о чём я, – на советскую власть я не в обиде, а только благода-

рен ей; это она меня выучила, она меня в люди вывела: стипендию платила, после учёбы распорядилась на работу, квартиру дала. Ты погляди, сколько молодёжи, отучившись на родительские кровные, нынче дома сидит! Подался я тогда в Воронеж в ремеслуху. В вечернюю школу пошёл. И обнаружилось: если чему в школе учили, то кое-как. Тяжело было деревенскому пацану в люди выбиваться – высмеивали за деревенский говор, за кое-какую одежду, за безденежье... Что я тебе это всё рассказываю, ты сам не с неба свалился. Дед твой чуть ли не соседствовал. Может, детьми когда-то и в одну игру играли – всё разве упомянешь! Начал я тогда там упираться изо всех сил. Допирался до заместителя директора банка. Для тела теперь квартира в центре города Воронежа, а для души земляца дедов-прадедов в родных местах.

Пойдем-ка, я тебе свой огород лучше покажу. Может, и продам кому своё дворянское гнездо... а может, и не продам. Реку им подавай, газ-асфальт им подавай... – вышагивая меж грядок, негодует вчерашний банкир.

– Давно земляца без хозяина, задичала, но на будущий год и пырея должно быть меньше, и повилики. Гноблю я их то тяткой, то руками. Глянь, как укроп полез, лук хорошо взялся, арбузы силу набирают, а кабачки и цукини – просто молодцы. – Митрофаныч любовно поглаживает листья растений: – Чуют, слышат и ощущают они мою ласку и поддержку. Дикого зверя погладь, и он ласку услышит, а растения эти, сколько веков они около человека. То-то!

– Плоховато смородина выглядит, – нахожу я изъясн в огороде приятеля.

– Тяжеловато ей, – Митрофаныч вздыхает, – сорняк забил, давно без обрезки, а мне ей помочь некогда. – Он нагибается и выдёргивает толстенный подснежник: – Ты глянь, какие кисти с семенами! Брызнет ими во все стороны, как хороший мужик! – гектар засеет.

Пялюсь на его штаны и всё не могу в толк взять: у всех штаны протираются спереди на колёнках, а у Митрофаныча сзади. Мой вопрос только усугубил моё положение. Оказалось, я слабо «волоку» не только в огородных, но и в международных делах.

– В условиях санкций против нашей страны мы, как сознательные граждане, должны не ныть, а искать импортозамещение. – Митрофаныч смотрит мне в глаза победно-восторженно. – Надев штаны задом наперёд, я лишил китайских производителей наколенников рынка сбыта. Сечёшь?!

Митрофаныч радостно мне улыбается, поглощая

разрезанный вдоль и посыпанный солью огурец. Хорошо видны крупные семечки огурца на срезе.

– Огурец-то старый, – замечаю я.

– Огурец ладно, – парирует приятель, – я – старый, вот беда.

– Только конец августа, а некоторые деревья уже пожелтели, может, к ранней осени? – спрашиваю.

– У деревьев, как и у людей, – одни седеют раньше, другие позже, – отвечает Митрофаныч.

Хвастая печью собственного изобретения и постройки.

– Как в ноябре затопил, так всю зиму только дрова подкладываю.

– Да...а, – задумчиво тянет Митрофаныч. – Это какая же экономия на спичках получается!

Я улавливаю его ёрничество и отбиваюсь первым, что приходит на ум: – А бумаги...

Митрофаныч тут же реагирует: – В условиях нашей местности, где нет почтового сообщения, остёр дефицит газетной и туалетной бумаги, твоему изобретению просто нет цены. Твой опыт нужно распространять в труднодоступные районы Крайнего Севера и, может быть, даже, – он поднимает вверх указательный палец, – использовать в освоении космического пространства.

– Там с дровами, – говорю, – напряжёнка.

– Ты не забыл, как в наше время пели: ...и на Марсе будут яблони цвести... – а?

* * *

Проёмы окон вокзала заложены кирпичом. Вокзал кажется уснувшей пушкинской головой из «Руслана и Людмилы» на плечах перрона, заросшего теперь кудрями бурьяна и кустарника. С торца вход. Дверь выбита, пол выломан. Со стен свисают остатки проводки. Старые и новые надписи. А куда ж нам без надписей, показателей грамотности населения, – им даже стены и заборы отдали на земле. «Хочу бабу от двадцати до сорока», – выцарапано навечно скорее всего куском железа. Телефонный номер и подпись хотельца: «Юра». И ещё много каких автографов и просто свидетельств – здесь был или были... подписи и даты.

* * *

Лет пять мне было, когда тётка Рая взяла меня с собой в Андреевку «папашку» попроведать – дедушку Макара, значит. Рано утром с зевками и утренней дрожью вошли в вагон. Освещался он несколькими керосиновыми фонарями над двер-

ными проходами. В его многочисленных углах таилась тьма, сильно пахло «курным» углём. Не прохладно, а холодно в вагоне было до «сучьей дрожи». Станция Нижнедевицк, откуда мы отправлялись в гости, была и есть крайняя точка Воронежской области на западе. Видно, здесь вагоны ночью отстаивались.

В Избище вокзала я не увидел. Стоял длинный приземистый железнодорожный вагон без колёс со множеством надписей у лючков и решёток на немецком языке. Из трубы на крыше клубами вываливался дым, растекаясь в чахлой растительности за «вокзалом». Так же, как и в вагоне поезда, на улице сильно пахло курным углём. Через поле по «косовой» тропке пошли к деду.

Возвратившись, мы ожидали в этой приспособе под вокзал поезд. На лавках у стен сидели люди. Много людей. Пламя из железной печки через плохо прикрытую дверку косо высвечивало сомлевшую женщину на лавке с ребёнком на руках, большую потемневшую корзину с вещами рядом. В вагоне жарко натоплено и сильно накурено. Свет от керосиновой лампы на стене едва пробивал синеватую пелену махорочного дыма. Мужик из дальнего тёмного угла басисто «гнал» байку: «Заходит, раскудрит-твою-железо, в наш вокзал царь наш Пётр со свитой. Проездом на Воронеж тут оказался и удивляется, раскудрит-твою-железо: ну и избища у вас тут! Так вот с тех пор, раскудрит-твою-железо, название станции и пошло».

* * *

Часто выхожу я теперь из своего дачного домика на простор за железнодорожную лесополосу и гляжу окрест. По дальним холмам зелень леса, высокое – то голубое и солнечное, то серое и ммурое – небо над полями. Через ближнее поле в луговину сбегавшая когда-то от станции косовая давно запахана, и никто её больше не протаптывает. Да и дедова дома внизу нет, и колодца его тоже нет. И дома Акарачихи напротив нет. И всего-то на этой улице один дом жилой. Коля в нём живёт. Молодым трудился на Севере так, что и жениться не успел, а теперь, говорит, ни к чему.

Цел пустой дом с надворными постройками покойного дяди Михаила. Растёт на этой улице бурьян выше роста человеческого да слышатся проклятия изредка навещающих сюда некогда местных жителей в адрес разорителя России «царя» Бориса.

А я стою на перекрёстке трёх дорог, любуясь раскинувшимися далями, да слышу, как из-под земли призрачные колокольные звоны доносятся, и в одном нахожу для себя утешение: вижу я всё это глазами отца и матери, глазами дедушек моих и бабушек. Через меня и их жизнь продолжается.

□

Александр Иванович МАЛЬЦЕВ

родился в 1948 году в селе Лесополяна

Нижнедевицкого района Воронежской области.

Окончил исторический факультет

Воронежского государственного университета.

Работал в Воронежской области учителем, директором школы.

Служил в органах МВД.

Публиковался в журнале «Подъём», региональной печати,

коллективных сборниках.

Автор четырёх поэтических книг.

Живёт в посёлке Бор Рамонского района Воронежской области.

В журнале «Север» публикуется впервые.

